Борис Васильев
Жила-была Клавочка

1

Встать в семь; умыться, прибраться, перекусить, привести себя в порядок, выйти из дома не позже восьми пятнадцати; автобус, метро с пересадкой, снова автобус, да еще пять минут ходьбы — девять часов ровно. Четыре часа работы плюс час перерыв плюс еще четыре часа — уже шесть вечера, день прошел; путь домой, не спеша, с магазинами — полтора-два часа; ужин, да уборка, да стирка, да с соседкой поболтать, да телик посмотреть — и, пожалуйста, половина двенадцатого, если не все двенадцать: день да ночь — сутки прочь.

Это — время.

Зарплата минус налоги, взносы в профсоюз, комсомол да «черную кассу» — на руки восемьдесят шесть рублей. Ничего, многие одиночки и меньше получают. Отложим за квартиру, свет, газ, там — лампочка перегорела, здесь — кран потек: семь в месяц, как ни вертись. На работе — обед в столовке, да дорога тридцать копеек в день в оба конца, да складчина: то кто-то рождается, то кого-то повысили, то праздник, то

девичник — двадцать три, проверено. Да каждый день дома завтрак и ужин, да восемь обедов в субботы с воскресеньями — в общем, тридцатка, а то и все тридцать три выложишь. И — разное: десятку в город Пронск; кино или театр или торт себе для веселья; колготки или чулки (рвутся, проклятые, не поймешь, почему рвутся-то!) — еще пять, а то и семь, а всего расходов по этой статье не меньше двадцати. Если все сложить — восемьдесят рублей плюс-минус ерунда. И на все-все: на платье и белье, на пальто и сапожки, на перчатки и шапочку, на плащик и кофточку, на юбку и шарфик, на мыло, парикмахерскую, косметику, на концерт, на выставку или на электричку до природы доехать — на все-все без излишеств, без кусочка удовольствия откладывать удается пятерку в месяц. А мебель? А море? К нему же съездить ой как хочется, глазком одним поглядеть, как там отдыхают. А Ленинград и Суздаль? А меховой воротничок? А туфельки? А ресторан, в котором один раз в жизни была? И проигрыватель, пусть хоть трижды уцененный? А цветы самой себе, чтоб соседке Липатии Аркадьевне сказать: «Знакомый подарил…»?

Это — деньги.

Время — деньги: ни того нет, ни другого. Вертись в расчетах, прикидывай, можно ли второй стакан чая выпить или лучше так перебиться: у

Людмилы Павловны скоро день рождения, на подарок скидываться придется, да и на девичник; так уж «самой» заведено, а она начальница. Значит, надо считать.

И Клава Сомова считала. Шевеля губами и усиленно морща кругленький, как у ребенка, лобик, складывала, делила и прикидывала, от чего нужно отказаться, чтобы что-то купить, как исхитриться, чтобы чего-то не покупать, и сколько раз можно пойти в кино, чтобы не залезать в долги. У нее никого, решительно никого не было во всем белом свете, кроме бабки Марковны, которой она ежемесячно посылала десятку. Это перенапрягало ее бюджет, но мама у края жизни просила за старуху, и Клава исполняла последнюю волю, хотя бабка эта ни с какой стороны не приходилась ей ни родственницей, ни даже знакомой. Клава знала в общем мамину историю, в подробности не вникала и слала деньги безропотно и бесперебойно. Она свято следовала маминым заветам, потому что считала маму умной, а еще потому, что ничего не имела, кроме этих заветов. Да и заветов-то было всего три.

Первый: жить так, чтобы, боже упаси, не влезать в долги, а, наоборот, ежемесячно что-то откладывать. Хоть рубль мелочью.

— Одна ты, Клавочка, а советчики далеко. Жизнь длинная: где споткнулась, где перегнулась, а

где и сплоховала.

Клава в деньгах держалась, а в жизни раз сплоховала. Все, правда, за государственный счет сделали, но стыда нахлебалась. Врачиха три раза на беседу вызывала, о совести говорила, о женской гордости и о том еще, что нерожавшей опасно аборт делать: детишек может никогда уж не быть. Но Клава глядела на свои руки, пылала ушами да твердила, что мама неизлечимо больна, а потому чтоб делали все поскорее.

Второй завет — каждый месяц Марковне десятку отсылать. За то, что мама тоже была одна и в войну не эвакуированной оказалась, а просто беженкой: прибежала в город Пронск из города Красного в августе сорок первого в чем из постели выскочила и рухнула от страха и голода на улице Кирова. Очнулась у Марковны — да так у нее и осталась. После войны в Москву подалась, дочь родила. И ей теперь завещала бабку Марковну, будто самое бесценное сокровище.

— Себе откажи, а Марковне чтоб каждый месяц. Денег не будет — платье последнее продай. За добро добром платят. — Мать пожевала искусанными губами. — А если случится что плохое, если совсем невмоготу станет или обидит кто — к Марковне поезжай. Поняла? К Марковне.

Клава никогда и в глаза-то эту Марковну не видела, а деньги текли и текли, как при маме: за

добро платили чем могли, и эта вырванная с кровью десятка тяжелее тянула, чем иные тысячи.

Мама помирала в больнице. В послеоперационной палате, куда никого не пускали, а Клаву пустили, дверь в коридор не закрывалась, напротив находился пост, виднелись край стола и пола сестринского халата. И мама последний завет шептала на ухо, чтоб не конфузить дочь, которой уже исполнилось двадцать, но которую она с материнским упорством продолжала считать несмышленой:

— Гуляй с оглядкой, мужик пошел ненадежный. На слово никому не верь. По себе знаю, как поверить захочется, когда скажут, что любят, а ты меня вспомни. А если и тебе счастья не выпадет, тогда… — Мать помолчала, колеблясь. — Тогда, как я, сделай. Подбери мужчину, чтоб непьющий, и роди. Тяжко одной ребенка тянуть, а век одной вековать еще тяжче. Так что рожай, благословляю. Коль в двадцать пять замуж не выйдешь — рожай, велю…

Этот последний завет воспринялся особо, недаром мать шептала его, щекоча ухо. В нем было не только будущее, но и прошлое, потому что мать в свои двадцать пять поступила так, как сейчас наказывала дочери, исплакавшись в одиночестве и не надеясь более выйти замуж. Приглядела чужого, да зато почти что непьющего, завлекла,

исхитрялась в общежитии его принимать, рискуя пропиской, работой и комсомольским добрым именем. И думала сейчас, что рак у нее оттого, что никогда она полностью страсти не тратила и в мужских руках прислушиваясь к шагам в коридоре. Женщины, которые лежали с нею в многочисленных больницах (мама долго помирала, целых два года), в один голос утверждали, что ничего нет для их организма хуже, чем страсть эта половинная, чем богом проклятая однобокая любовь в общежитиях, что все женские недуги оттого, что ни засмеяться, ни вскрикнуть не смели они, и что будто бы это все сильно влияет на детей, напуганных еще до собственной своей жизни. И, наставляя сейчас дочь, умирающая стремилась вложить в нее решимость, которой и самой-то недоставало. И еще — снять с себя непонятную, тревожащую тяжесть. Не физическую, а какую-то иную: мать не знала, откуда она взялась, эта тяжесть, но интуитивно жаждала откровения. Заложенная в ней нравственность, не придавленная соображениями, как ловчее устроиться, шевельнулась вдруг, расправила крылья и попыталась подняться над бытом, житейскими уловками, компромиссами и допущениями, но мать не знала, что такое душа и как она корчится, стыдясь того, в кого вложена, а потому, стремясь облегчить взлет собственной нравственности, учила

дочь, как обойтись без нее.

Клава не почувствовала мучительной двойственности, которая так терзала мать в последние часы жизни. Она тоже ничего не знала о душе, а потому и совесть, и нравственность были для нее понятиями абстрактными, существующими сами по себе и конечно же отдельно от нее, как пункты морального кодекса. Она покорно выслушала маму, то и дело вытирая слезы, поняла, что та сказала, но поняла умом, как и была приучена понимать. А ум склонен прикидывать, и Клава, слушая и согласно всхлипывая, уже решала, что это ей не подходит, что она по женским статьям лучше матери, а потому очень скоро встретит замечательного мальчика и они зарегистрируются во Дворце бракосочетания. И это было вполне естественно, и по-иному Клава и думать не могла, потому что ей исполнилось всего двадцать и она была убеждена, что молодость ей — навсегда.

В двенадцать Клава считала себя очень красивой, в шестнадцать — очень хорошенькой, в двадцать — очень симпатичной, а потом поняла, что все горазды потискать, но никто не спешит с предложением. В восемнадцать у нее был жених, но пожениться решили, когда он отслужит в армии, а на проводах Клава позволила, и жених растворился, как сахар. Мама тогда еще была жива, лежала в больнице по первому разу, все случилось у них в

комнате, но соседка оказалась замечательным человеком и только за то ругала, что Клава чересчур расщедрилась.

— Мужиков томить надо, подруга. Чем крепче томишь, тем дольше любовь. Ясно тебе?

— Как — дольше? — Клава считала, что любовь, как и молодость, концов не имеет; ее разуверяли, приводя примеры из кинофильмов и даже из художественной литературы, но она все равно так считала.

— Дольше с этим, — пояснила соседка Тома. — Потом другой будет, но его же найти надо!

Это было давно (четыре года прошло!), а женихов не было. Никто не дарил цветов, никто не водил в кино, никто не целовал в полутемном подъезде так, что хрустели косточки. Каждое утро, вглядываясь в зеркало, Клава со страхом подмечала, что глаза начали выдавать в ней какую-то особую, ночную, совиную бесшумность одиночества. И тогда ей казалось, что уже не помогают загадочные тени на веках и даже новый лифчик, так ладненько сделавший фигурку, и она часто плакала по ночам.

Подходили ее сроки, веселая тревожность юности сменялась тоскливой суетливостью; Клава уже не срывалась вдруг на шумную улицу в безумной надежде именно сегодня, сейчас встретить того, кто будет любить ее всю

оставшуюся жизнь, а плелась на кухню, где можно было встретить либо Липатию Аркадьевну, либо шалопутную Томку. С Липатией она пила чай, без любопытства выслушивая длинные рассказы о длинных романах, в которых бывшая администраторша всегда первой бросала влюбленных в нее знаменитостей.

— Вы помните Павла Стахова, Клавочка? Знаменитый был артист, знаменитейший! Женщины в провинции так и падали, так и падали. В окна по водосточным трубам на пятый этаж лазили, ей-богу! Ах, как он был влюблен в меня, как влюблен! Однажды прислал трамвай, набитый букетами. Ландыши, ландыши! Весь пол моего номера был усеян ландышами, и я не устояла. Вы — женщина, вы бы тоже не устояли. Я рухнула на эти ландыши как подкошенная…

Клава уныло удивлялась: с истасканной, заштукатуренной, как общежитие, Томкой было веселее. Свои романы она не сочиняла, а раскручивала здесь же, в их коммунальной квартире на трех одиночек. Начав знакомство с утверждения, что мужиков томить надо, она теперь уже не утверждала, а спрашивала:

— Томишься, подруга? Хочешь приведу для здоровья?

Клава испуганно отказывалась. Сначала брезгливо и громко, потом просто громко, потом

тихо, потом… Потом были воскресенье, весна, солнце, воробьи. Клава мыла окна, надев старенький, еще школьный халатик, из которого давно выросла и теперь торчала плечами, животом, коленками, бедрами. Липатия уехала в гости, о чем важно и звонко объявила, соседка тоже прибиралась, грохоча за стенкой, и на душе у Клавы было на редкость покойно. Она с удовольствием наводила чистоту и даже что-то напевала, когда вошла Томка.

— Поешь, подруга? — Она замолчала, вглядываясь в стоявшую в оконной раме Клаву. — Симпомпончик! — Деловито понизила голос: — У меня сантехник замок вставляет. Ничего парень, плечистый. Как кончит, скажу, чтоб к тебе зашел.

Клава хотела возмутиться, хотела отказаться, хотела затрясти головой и — не смогла. Почувствовала, как бросило в жар, как всю ее тянет: ноги, плечи, спину, живот. Сердце забилось, а грудь сжало, и она с ужасом услышала собственный лепет:

— Неприбратая я.

— Нормально, подруга, ты сейчас как люля-кебаб, аж скворчишь.

— Тома! — отчаянно зашипела Клава, спрыгнув с подоконника. — Я не знаю. Тома, я…

— Попроси окно закрыть, мол, мучилась, не закрывается. Потом бутылку на стол… Есть

бутылка или одолжить?

— Тома, я боюсь.

— Для здоровья, подруга! Это ж — как анальгин принять.

Клаве было и страшно и гадостно, а тело уже ломило и крутило, и все в нем ждало и жило сейчас надеждой. И уже недоставало сил сказать: «Нет!», уже глаза поглядывали на кровать, а дрожащие руки сами собой поправляли, взбивали, пушистили волосы…

Томка оказалась права: как анальгин. А после горько. И противно, и себя жалко, и вообще скверно. А дни бежали друг за дружкой, и Клава, засыпая, уже начинала подумывать о последнем мамином завете. И яростно презирала себя, вспоминая бесцеремонные пьяные руки…

2

Если оценивать Клаву Сомову сторонним мужским взглядом, то следует признать, что взгляд этот мог запросто с кем-то ее спутать. Небольшого росточка, полненькая, несмотря на отчаянные старания не полнеть, девушка с напряженным взглядом больших зеленоватых глаз, короткими волосами, толстенькими, как подставочки, ножками была обыкновенно мила или мила обыкновенно. А если добавить к этому свойственную ей

незаметность и всегда почему-то чуть растерянные движения, то выделить ее из московской толпы было совсем не просто. Тем более что и охотников выделять пока не находилось.

В этом были повинны два факта. Во-первых, как считала Клава, имя, которым наградила ее крестная мать. Теперь так никого не звали, имя казалось старушечьим, и, знакомясь, что случалось, правда, крайне редко, Клава представлялась Адой, а потом забывала откликаться. Но тут уж ничего нельзя было изменить: она еще в шестнадцать написала насчет изменения имени в молодежный журнал, а оттуда ответили, какое это прекрасное имя и сколько Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда было с этим прекрасным именем. Но не станешь же мальчику при знакомстве о героинях рассказывать, вот и приходилось называть себя Адой. Это звучало красиво, коротко и немножко даже таинственно.

А второй факт: в их отделе координации встречного планирования, который, между прочим, подчинялся непосредственно главному управлению, мужчин вообще не водилось. Была начальница Людмила Павловна, была заместительница Галина Сергеевна, были старший инженер Вероника Прокофьевна и были девочки — Наташа, Оля, Лена, Катя, Таня, Ира и еще одна Наташа. Вот и весь коллектив, правда, очень

разнородный. Галина Сергеевна, к примеру, замужем, Вероника Прокофьевна — брошенная, Оля — мать-одиночка (ее все в отделе «мапой» звали; «мама плюс папа равняется мапа», — как Лена однажды выразилась), Наташа — разведенная, а вот Катя — счастливая: и замужем, и с малышом, и с двумя бабками, почему и училась в институте на вечернем отделении. И Таня тоже — вот-вот счастливая: с влюбленным женихом, папой да мамой и третьим курсом того же вечернего. Ну, а остальные — «ждущие», где окажутся: в брошенных, разведенных или «мапочках», как та же Ленка шутила. Шутить шутила, но сама не ждала: гуляла громко, звонко, отчаянно, «ночи напролет и дни навылет». Никаких тайн она не признавала, говорить ей что-либо секретное было невозможно, но зато и над своей жизнью покрывало не опускала. Очередным своим «мальчикам» приказывала за нею на работу заходить и обязательно представляла всему коллективу:

— Номер тридцать девятый. Как тебя? Ах да, вспомнила: Андрюша. Точно?

А на другой день интересовалась:

— Ну, как вам мой свеженький?

Одобряли редко. Чаще плечами пожимали, а Вероника Прокофьевна хмурилась и губки подбирала:

— Что ты нашла в нем, Елена? Не одобряю.

Поматросит да и бросит, уж я-то их знаю.

— Так хоть поматросит! — хохотала Лена.

Она знала цену бабским пересудам и водила своих очередников, чтобы позлить родной отдел. Когда удавалось, смеялась, весело закидывая голову: зубки были ровненькими, беленькими, всегда ждуще влажненькими. Она очень хотела, чтобы Ирка сдохла от зависти, но молчаливая, вся из себя такая загадочная Ирочка только улыбалась.

— По мелочи размениваешься, мать.

Вот за нею никогда никто не заходил, но все отлично знали, что если уж перед обедом солидный мужской голос попросит к телефону Иру, то после работы за ближайшим углом ее будет ждать темно-вишневый «жигуль», и Ирочка полетит к нему, асфальта туфельками не касаясь. А на следующий день у нее непременно появится картинная вялость, таинственные намеки на сквозняк в ресторане, и вся она будет особенно дерзко источать волнующий аромат французских духов, маленький флакончик которых стоил половину зарплаты. Таких духов не было ни у кого из знакомых, и Клава считала, что их выпускают только для киноартисток.

— Глупая ты, Клавдия, — сказала Наташа Разведенная. — Да духи эти нарасхват…

— Да кто же это из женщин их позволить себе может? — ахнула Клава.

— А они не для женщин выпускаются.

— А для кого же? Для мужчин, что ли?

— Именно что для мужчин. Вот увлеки какого-нибудь артиста-замминистра и получишь.

— А как же Ирочка? — шепотом спросила Клава.

— А вот как раз так же! — засмеялась Наташа Разведенная.

Лена и Ирочка были самыми знаменитыми девочками: у остальных все было обычным. Обычные интересы, обычные заботы, обычные секреты и обычные увлечения. Все они вечно куда-то спешили, вечно куда-то опаздывали, вечно кого-то ждали и всегда боялись, что кто-то куда-то не придет, а если и придет, так чтоб сказать: «До свиданья, дорогая, у меня уже другая». Оба телефона в отделе были постоянно заняты, и начальница Людмила Павловна сочла нужным распорядиться, чтобы по ее личному аппарату не звонили хотя бы до обеда. Девочки постоянно болтали о том, что где дают, кто что достал, перешил, связал или собирается доставать, шить или вязать. Не проходило дня, чтобы кто-то не притаскивал на работу сапожки, кофточки, туфельки, свитерочки, платья, юбки, и все детально обсуждалось, оценивалось и примерялось. И Клава носила, когда что-либо удавалось раздобыть, и Клава примеряла свое и чужое и горячо обсуждала

свое и чужое, живя кипучими интересами всего отдела и стыдливо завидуя двум загадочным — Лене и Ирочке, — которые жили забубенной, пугающей, грешной, но звонкой и необыкновенной жизнью.

Отдел существовал по своему расписанию, и самым святым в этом расписании был час обеда. Кроме него, имелись еще два чая: один — до обеденного перерыва, второй — после него. Первый чай был необходим для разгрузки официального перерыва: напившись чаю с купленным в складчину тортом, пирожками или захваченными из дома бутербродами, женщины в обед бежали по магазинам. Семейные устремлялись за продуктами, одинокие спешили на разведку в промтоварные. Если кто-то где-то на что-то нарывался, то брал не только для себя. Это позволяло коротать второй, послеобеденный чай в благодушной атмосфере примерок и советов. Притом они неторопливо и старательно исполняли основную работу, успевали проводить профсоюзные и комсомольские собрания и были на хорошем счету.

Конечно, единственно потому, что руководила ими Людмила Павловна. Суровая, можно сказать, даже грозная начальница, но всем девочкам было известно, какая отзывчивая у нее душа. Год назад Вероника Прокофьевна вдруг пропала. Недавно на

работу оформилась, с начальством за принципы сражалась — и нет ее. Ну нет, так нет, никто особо и не задумался, но Людмила Павловна заволновалась, забеспокоилась, и все узнали: от Вероники, оказывается, муж сбежал, и она так это переживала, что угодила в больницу с нервным расстройством. Вот там-то ее и обнаружила Людмила Павловна. Нашла, поговорила с врачами, организовала посещения, чтобы не всем табуном ходить, а каждый день по одной. И когда какие-то особые лекарства понадобились, на всех своих знакомых нажала и добыла то, что требовалось. Выходила Веронику Прокофьевну, подняла ее, пригрела, в специальный санаторий путевку достала, можно сказать, с того света к жизни вернула. И — в свой отдел на прежнюю должность.

Вот какой необыкновенной женщиной была Людмила Павловна. Все это понимали, все всё знали и все же чуточку побаивались. Естественно, про себя. И не потому, что была начальница безулыбчивой, как стихия, а потому, что точно знала, как надо поступать, как надо говорить и как следует реагировать, и не было — да и быть не могло! — ни одного вопроса, на который у Людмилы Павловны тотчас не сыскался бы ответ.

— Приличная женщина этого не наденет.

— Приличная женщина грудь не выпячивает.

— Приличная женщина на такое кино не

пойдет.

Никто не спорил, но зато никто особо и не рвался в «приличные женщины». Тем более что определение страдало непостоянством, и если, скажем, вчера «приличная женщина» никак не могла надеть мини, то сегодня она же твердо была убеждена, что удлиненная юбка уродует фигуру. Гораздо меньшим изменениям подвергалось другое унифицированное определение, которое употреблялось по отношению к миру внешнему, но нисколько не реже: «советская женщина». Людмила Павловна не просто произносила привычные заклинания — она искренне полагала, что в них-то и заключена вся премудрость мира и потому ни о чем постороннем можно более не думать. А посторонним было все, что не касалось ее непосредственно.

Работа — касалась.

— Социализм — это учет, — произносила Людмила Павловна так, будто сама додумалась до этого максимум полтора мгновения назад. — Значит, наш отдел — самое социалистическое учреждение.

Последняя абракадабра действительно являлась ее творчеством. Все должно было быть учтенным, разложенным по полочкам и расписанным по параграфам. И так бы и случилось в руководимом ею коллективе, если бы не одно

досадное обстоятельство: коллектив был женским, а женщины ничего не имеют против того, чтобы быть учтенными, но терпеть не могут полочек и яростно сопротивляются параграфам. И, привычно произнося формулы типа «приличная женщина» и «советская женщина», Людмила Павловна никогда не забывала делать поправку на специфику своих подчиненных.

Метод был проверенным: почаще бывать с народом. Девичники, дни рождения, праздники, квартальная премия — все могло быть предлогом, а если календарно наступал тихий период, то изыскивалась возможность встряхнуть коллектив энциклопедическим путем:

— Девочки, сложитесь, сколько там… Вероника Прокофьевна прикинет. Наташу Маленькую от работы освобождаю. Никаких излишеств. Наташа: торт, конфеты, немного вина. Как обычно.

— Это ж в честь чего? — спрашивала отчаянная Лена.

— Стыдно, — со строгой паузой говорила начальница, хмурясь сквозь очки. — Сегодня много лет назад прогрессивнейший человек своего времени и, между прочим, личный друг Карла Маркса закончил четвертую главу своего великого труда «Женщина и социализм». Неужели же мы, советские женщины, которым, по сути, и

посвящался этот гигантский труд…

Все виновато замолкли. Вероника Прокофьевна подсчитывала, на сколько тянет четвертая глава, а Наташа Маленькая готовилась к походу по магазинам. Она называлась Маленькой не из-за роста и уж тем паче не из-за возраста, а по совершенной пришибленности, была безропотна, безголова, безотказна — все «без», а потому числилась любимицей, получала премии и по субботам ходила к начальнице убирать квартиру.

Из старших — тех, кого уважительно называли по имени и отчеству, — самостоятельной считалась Галина Сергеевна. Вероника Прокофьевна, поначалу изображавшая из себя нечто очень прогрессивное, с уходом мужа потускнела, как нечищеный самовар. И во всем отделе оказалась одна «независимая держава» — как выразилась Наташа Разведенная — Галина Сергеевна. Поэтому к ней относились по-особенному, да и сама она была особенная. Людмила Павловна всегда ставила её в пример остальным, хвалила со всех трибун, но — разве от девочек скроешь? — завидовала. И однажды не выдержала, сказала ближайшим, то есть Веронике Прокофьевне с Наташей Маленькой:

— Господи, да за шофера и я могла выйти. Хоть двадцать раз.

Естественно, крик души этот быстренько

Галине Сергеевне передали, женский телеграф сработал. Ожидали, как она выкрутится, а заместительница так ответила, что тему эту тут же навсегда и закрыли:

— Женщина, девочки, за мужчину замуж выходит.

И никто — ни старшие, ни младшие — не догадывался, что за фасадом современной деловой женщины скрывается совсем не уверенная в себе жена и мать. Что прекрасная фраза верна лишь теоретически, а на практике Галина Сергеевна — в те времена еще просто Галка — вышла замуж за весьма целеустремленного человека.

— Решаем так, — сказал он сразу же после регистрации их брака. — В институт идешь ты — и помоложе, и память у тебя имеется. Это — первое. Ребенка заводим, когда ты на четвертом курсе будешь, оттуда уже не выгонят. Ну, а потом — машину с ветерком, и все у нас будет как у людей.

Галина Сергеевна родила девочку, защитила диплом, устроилась на хорошую работу, оставалась машина, чтоб «как у людей». Копили, отказывая себе во многом, но девочка оказалась болезненной, и деньги шли на врачей и санатории. Муж тихо пилил, а Галина Сергеевна, постоянно ощущая на своих плечах непомерную тяжесть благодарности, вечерами плакала, днем завинчивая нервы до последнего витка.

Вот так в подспудно равновесном кипении и пребывал отдел квартал от квартала и год от года. И еще бы долго пребывал, если бы Клава Сомова не потеряла квартальную сводку. А квартал был на исходе, запрашивать дубликат означало нарушать сроки и лишить всех премии, и Клава некрасиво ревела, роясь в папках и шмыгая носом. Ревела она не от страха, а от пропажи этой проклятой сводки. Она искренне рвалась исполнять любые распоряжения, с удовольствием бегала на субботники, ездила на овощную базу или в колхоз. Она всегда трудилась на совесть и не могла по-иному трудиться, потому что мама говорила ей: «Если надо, Клавочка, то тут уж и через «не могу» все равно надо, ничего не поделаешь». Это когда она не хотела по утрам идти в детский сад. А теперь потеряла сводку, и все вдруг взорвалось.

Это Клава так считала, что взорвалось из-за сводки. А на самом-то деле все было чуть-чуть не так. На самом-то деле в главке выдали служебную тайну:

— У вас сокращение штатов.

Галина Сергеевна узнала об этом за неделю до Клавиной потери, Людмила Павловна — за месяц. Но начальницы это не касалось, а заместительница рыдала весь вечер. И когда пришел домой муж, зарыдала еще сильней:

— Должность сократили! А я одна там тянула

всю работу, как каторжная, а меня же и сократили!..

Муж помрачнел, походил, подумал. Долго курил на лестничной площадке и вернулся, просветлев:

— Какое у начальницы образование? Общее руководящее? А у тебя — по специальности. Туз. Основную работу кто ведет. Ты. Король. У кого больная дочь? У нас. Дама. У кого муж — рабочий класс? У тебя. Валет минимум. При таких козырях можно смело играть. Приписывали?

— А как же иначе главк премию получит? А мы — от главка?

— Вот и подсунь приписочки за прошлые года. Нет, не сразу, конечно, тут подумать надо.

— У нее везде руки.

— Так это ж нам плюс. Ей устроиться легко, а испачкаться страшно. И когда почувствует, что может биографию замарать, сама сбежит. Да еще тебя на свое же место порекомендует.

Вот какая началась неделя, и то, что Клава посеяла сводку, ровно ничего не значило. Пока. Пока заместительница не сообразила, как под эту утерянную сводку подсунуть прошлогодние приписки.

Это был тот редчайший день, когда у каждой имелось дело, жесткий срок и цифры, с которыми манипулировать надо очень внимательно, чтобы не запутать и без того безнадежно запутанный

суммарный баланс. И все обсчитывали свое, Вероника Прокофьевна прикидывала общие цифры, а Галина Сергеевна готовилась подогнать их под результат, чтобы получить две десятых процента сверх. А сама Людмила Павловна выполняла в эти часы главное, звонила бывшим однокашникам и в дружеской беседе узнавала, обещала, проверяла и напоминала, что без ее отдела они до конца дней своих не согласуют друг с другом собственных результатов.

— Антоныч, привет, Людмила Лычко беспокоит. Как жизнь, как половина? Целуй ее, она у тебя золото. А дети? Ну, что же ты хочешь: большие дети — большие заботы. Не отдыхал? Куда думаешь? В совминовский, конечно! Ну, бог даст, там и повстречаемся, если с путевкой не подведут. Что? Вот-вот, и я о том же. Какой у тебя план-то? А если по-честному? Так кто же вас увяжет, если не Людочка? Вот эту цифру и запишем, я ее с Гладышева получу. Да, да, ни больше ни меньше, со всей дамской аккуратностью. Господи, что бы вы делали без меня? Ну, можешь спать спокойно, поцеловались, перезвонимся…

Работа кипела. Клава ревела, и никто не спрашивал, с чего это она ревет. Если в одном месте собрано более пяти женщин, редкий день обходится без слез. Когда делать особо нечего, интересуются, с чего это сослуживица в слезы

ударилась, а когда дел по горло и ни в одном нуле ошибиться нельзя, самой зареветь хочется. Но спросить рано или поздно должны были, вопрос назревал не из любопытства, а по необходимости; Клава ощущала, что вот-вот он прозвучит, и ревела еще отчаяннее.

— Клавдия, сводку.

Клава хотела ответить: «Сейчас!», чтоб оттянуть, отсрочить гнев, потом хотела просто взять да и убежать, потом еще чего-то захотела, но, себя пересилив, сказала еле-еле:

— Утерялась.

И хоть прозвучало еле-еле и слово-то вылетело не очень понятное, а все девочки считать перестали и на нее уставились. Наташа Маленькая сказала «Ой!», а Вероника Прокофьевна подошла к усыпанному входящими-исходящими Клавиному столу и раздельно произнесла:

— Совершенно секретный документ. Мы обязаны сообщить куда следует.

Тишина наступила: скрепку урони — грохотом отзовется. Все замерли и встали, будто на Клавиных похоронах.

— Да бросьте вы девчонку пугать, — тихо сказала Галина Сергеевна. — Переливаем из пустого в порожнее, а воображения, будто и вправду военные тайны. Оля, достань прошлогодний отчет, возьмем среднее с поправкой

на перевыполнение.

А саму радостно затрясло вдруг: вот он, момент, о котором муж толковал. Вот случай зайти с козырного туза, пока горячка, пока не разобрались, пока заняты все по горло. Оля уже у стеллажей копалась, а Галина Сергеевна с трудом ажиотаж сдерживала. Но не сдержала, влезла в спор, показав козырного туза раньше, чем пошла с него.

— Странно вы себе представляете наше учреждение, — поджав губы, сказала Вероника Прокофьевна посторонним голосом.

— Оно и есть странное, — усмехнулась заместительница. — Вот подсчитают нашу выдачу годного без коэффициента приятельства и закроют нас навсегда. И что, по-вашему, случится? Да ровно ничего, кроме реальной экономии народных…

Тут раздался грохот: мапа Оля отчетный том уронила. Все вздрогнули, оглянулись и еще раз вздрогнули; в дверях стояла Людмила Павловна.

3

— Томишься, подруга?

Клава не томилась, а гладила. Она любила гладить: от белья шел теплый парок, утюг творил гармонию, и все хорошо складывалось. И уютно думалось, чисто по-женски: ни о чем и обо всем

сразу. А Томка вошла без стука, задала дурацкий вопрос, на который Клава давно уже научилась не отвечать, и села напротив. Глаз у нее был перевернутый, и Клава решила, что соседка опять влюбилась и опять в женатого.

— Гладим да стираем, а для кого стараемся? — стихами вздохнула Томка. — Пошли ко мне. Водку пить.

— Сейчас борьба объявлена, и я водку не уважаю.

— На шампанское наляжешь ради борьбы. Пошли, пошли, юбилей сегодня.

В Томкиной комнате Липатия Аркадьевна, мурлыкая, накрывала на стол. Томка кутила на славу — с водкой, шампанским и красной икрой, но на столе было ровно три прибора. Томка поглядела на них, потрясла крашеной гривой и налила рюмки.

— Я водку не уважаю, — упрямо повторила Клава. — И борьба…

— Заткнись ты своей борьбой, — буркнула подруга. — Кладите закуску сами, ухаживать некому.

— Мне рассказывали, что водка исключительно завоевала весь мир, — сказала Липатия, изящно накладывая закуску. — Странная судьба женщины: поклонники не вылезают из-за границы, а наш удел — ожидание. Век стрессовых нагрузок и одиночества, что же вы хотите?

— Хотим, чтоб не было одиночества. — Тамара сердито тряхнула кудрями и подняла рюмку. — А у меня юбилей. Тлидцать тли годика, как одна копеечка. До дна, подруги! Кто хоть каплю оставит, за зло посчитаю.

Напились. Томка ревела зеленой тушью и приставала:

— Нет, ты объясни, почему мы такие ненужные?

Нет, ты все разъясни, раз ты такая умная.

— Мы нужные, но мужчина ныне земноводочный. Цветов не дарит и без водки не вздыхает. И давайте петь. Я ехала… Я ехала в метро… Куда я ехала?

— Нет, ты скажи. Ты прямо скажи!.. — приставала именинница к Липатии, которая хотела петь, ибо втайне считала себя непризнанной.

Но с пением пока не получалось, потому что Липатия никак не могла вспомнить мотив и слова единовременно, а вспоминала в розницу, и песня не складывалась. Клава громко икала, наглотавшись колючего шампанского.

— Нет, ты мне объясни, почему это я всегда третья лишняя? Если б размазня была вроде Клавки или старуха вроде тебя, тогда б у матросов нет вопросов. Так или нет?

— Объясняю, — враз протрезвев от обиды, сказала Липатия Аркадьевна. — Вы, Тамара,

хорошая женщина, но, извините, неинтеллигентная. Вы задаете проблемы, которые давно решены человечеством. Вот, например, знаменитый Леопольд Миронович. Умница, чудо, какой талант, в меня — без памяти! Стреляться хотел.

— Чего же не застрелился?

— Да, так о несоответствии и одиночестве, — невозмутимо продолжала клокочущая от незаслуженных обид Липатия. — Женщины нужны для семьи и для страсти, и делятся они не по красоте и тем более не возрасту — это вообще, я извиняюсь, не принцип, если хотите знать, — а исключительно на жен и гетер.

— Ч-чего? — икнув, переспросила Клава.

— Точно! — Томка стукнула кулаком по столу и выругалась. — Точно, подруги, гитары мы, поиграют и откладывают. И бегом к своим законным. А еще говорили мне, что имя все определяет.

— Имя? — насторожилась Клава, сразу перестав икать.

— Имя, подруга, вот я — Томка, так мне всю жизнь мою томиться. Ты — Клавка, тебе кланяться.

— А я?

— А ты всю жизнь к мужикам липла, как пластырь, потому-то тебя с эстрады и выперли. Ну, чего, чего вытаращилась? Вцепиться в меня хочешь? Попробуй, я тебе последние волосенки

начисто сведу.

— Девочки, девочки, — заверещала Клава. — Поцелуйтесь, девочки, милые, ну, прошу, ну, умоляю в смысле…

Поцеловались. Липатия поплакала, еще выпили, кое-как песню спели. А потом хорошо помолчали, душевно, и Томка сказала:

— Мы сверху только запачканные, вот что я вам скажу. А внутри мы чистые и, если нас погладить хоть маленечко, сверкать начнем, что хрустальные бокалы. Точно говорю, подруги, на нас весь мир держится, мы, можно сказать, последний его шанс.

Так сказала истасканная, перештукатуренная, все знающая Томка, тринадцать лет глядевшая на мир из окошка кассы предварительной продажи железнодорожных билетов. Ее бросали и предавали, ее спаивали и продавали, а она все равно в хрусталь свой верила. И звенел тот хрусталь в ней в тот забубенный ее вечер, потому что исполнилось Томке ровнехонько тридцать три годика.

А на другой день Клаву лишили квартальной премии. Десяти рублей, на которые она очень рассчитывала. Но не просто лишили, а изъяли, и это было особенно обидно.

После обеда Наташа Маленькая принесла ведомость.

— Распишись.

Клава расписалась, Наташа забрала ведомость, но, вместо того чтобы выдать десятку, сказала:

— Тебе Людмила Павловна велела зайти. Сейчас же.

Клава испугалась. Она вообще безотчетно боялась всякого начальника, но начальника в кабинете боялась неизмеримо больше. Кабинет как в степень возводил живущий в ней трепет, обладая самостоятельным влиянием, как обладает самостоятельным влиянием, скажем, каток для трамбовки асфальта, катится будто без человека, будто сам по себе, а попробуй-ка не уступи ему дорогу. Так и кабинет с ковровой дорожкой, голым, как Манежная площадь в полночь, столом и дубовыми панелями катится на подчиненного, а уж коли в него вызывают, то и самые отчаянные останавливаются перед дверью, чтобы начать вхождение с левой ноги.

— Вызывали меня? — спросила Клава, от страха забыв поздороваться.

— Признаешь себя виновной? — выдержав бесконечно начальственную паузу, спросила Людмила Павловна.

Клава начала многословно объяснять, но все равно получалось, что сводка потерялась сама собой, без всякого Клавиного участия. Людмила Павловна слушала молча, и Клава стала увядать,

еще не закончив рассказа.

— Вот твоя премия. — Начальница открыла папку и показала Клаве десятку. — Порядочные люди сами от нее отказываются, если понимают, что она незаконна. Ты могла это видеть в кино.

Для Клавы эти десять рублей были не премией, а долгом Липатии Аркадьевне за перешитые брючки из искусственного вельвета. Брючки эти стали узки мапе Оле, и мапа Оля предложила Клаве их совсем по дешевке. Клава обрадовалась, отдала деньги, и перешивать пришлось в расчете на премиальный червонец. И теперь она молчала не от несогласия, а от напряженных арифметических действий. Конечно, очень правильно поступил тот принципиальный товарищ в кино, который отдал свою премию как незаслуженную, но у него же наверняка с долгами был полный порядок. И Клаве сейчас было очень стыдно не перед коллективом, не перед страной и даже не перед Людмилой Павловной — ей до ушного пожара было стыдно перед Липатией Аркадьевной, уволенной год назад и теперь перебивающейся случайными заработками.

— Ты нанесла коллективу моральный удар, — говорила тем временем Людмила Павловна, все еще держа купюру за уголок на уровне глаз. — Поэтому я считаю, что будет правильно, если ты откажешься от премии в пользу пострадавшего коллектива.